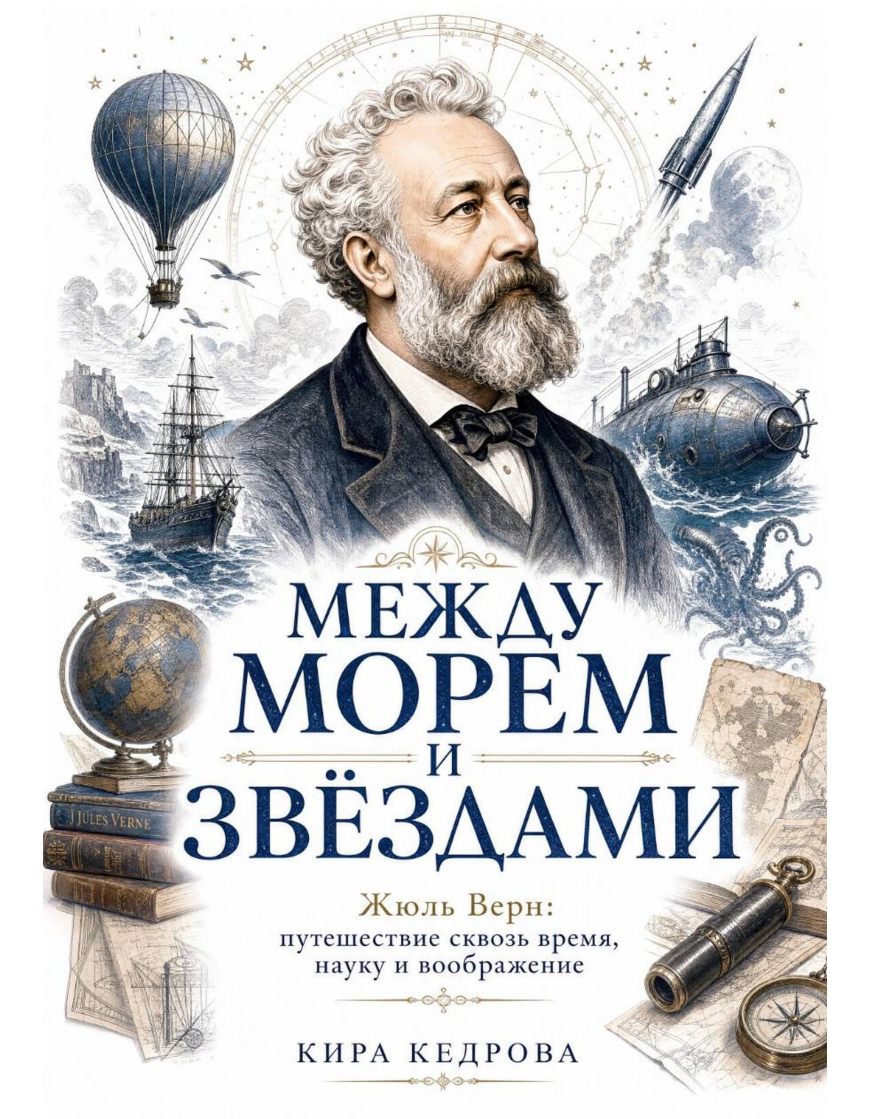




МЕЖДУ МОРЕМ И ЗВЁЗДАМИ

Жюль Верн:
путешествие сквозь время,
науку и воображение

КИРА КЕДРОВА

Кира Кедрова

Между морем и звёздами Жюль Верн: путешествие сквозь время, науку и воображение

<https://litres.ru/74373969>

SelfPub; 2026

Аннотация

Он мечтал о море, но отец готовил ему карьеру адвоката. Он писал для театра, считал последние монеты и ещё не знал, что однажды поведёт за собой миллионы читателей — к центру Земли, на дно океана и к Луне.

Это художественная биография Жюль Верна — сына, отказавшегося от предначертанного пути, писателя, ставшего знаменитым, пережившего войну, семейные испытания и выстрел, навсегда изменивший его жизнь.

Карты, научные открытия, литературные герои и видения будущего складываются в исповедь человека, который любил машины, но рано заметил их опасную тень. Вместе с Верном читатель проходит путь от детской мечты о плавании до вопросов, на которые не отвечает ни одна карта: где проходит граница между воображением и пророчеством? И становится ли

человечество лучше оттого, что научилось преодолевать любое расстояние?

Содержание

Авторское примечание	5
Пролог	6
Глава 1. Город, смотревший в океан	10
Глава 2. Закон берега	17
Глава 3. Корабль, которого не было	24
Глава 4. Столица без горизонта	32
Глава 5. Театр машин	39
Глава 6. Цена чернил	46
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Кира Кедрова

Между морем и

звёздами Жюль Верн:

путешествие сквозь время,

науку и воображение

Авторское примечание

Эта книга — художественная биография Жюль Верна. В её основе лежат реальные события, даты, имена и произведения, однако они соединены с художественной реконструкцией. Диалоги, внутренние монологи, сновидения, видения и фантастические эпизоды созданы автором и не претендуют на статус документальных свидетельств.

Книга сохраняет реальные исторические обстоятельства, но допускает литературную интерпретацию мыслей, чувств и мотивов Жюль Верна.

Пролог

В старости я научился различать два вида тишины.

Первая наступает после полуночи, когда в доме перестают скрипеть половицы, часы отмеряют секунды с излишней важностью, а ветер осторожно трогает ставни. Это обычная тишина. В ней человек слышит собственное дыхание и понимает, что тело, как старый корабль, продолжает держаться на воде только благодаря привычке.

Вторая приходит между двумя словами.

Она возникает не в комнате, а внутри мысли. Одно слово уже произнесено, другое ещё не найдено, и в коротком промежутке между ними может поместиться целый океан. Именно там я иногда слышу странный звук.

Он похож на гул большого города, увиденного из-под земли. В нём есть металлическое дыхание, отдалённый звон, ровный шум множества колёс и нечто ещё, чему я не могу подобрать названия. Я слышу этот звук, когда сижу за столом и смотрю на чистый лист.

Сегодня он пришёл раньше обычного.

Я отложил перо.

За окном лежал вечерний Амьен. Стекло потемнело, сад растворился в синеве, на ветвях остались только отдельные чёрные листья. На столе рядом с рукописью лежали вещи, которым не полагалось находиться вместе: лупа, компас, ча-

сы, несколько писем и маленькая фотографическая карточка.

На карточке был изображён человек.

Я не сразу понял, что смотрю на себя.

Лицо казалось моложе, чем моё собственное отражение в зеркале. Волосы лежали иначе, взгляд был направлен не в объектив, а куда-то за него, в пространство, которого в комнате не существовало. Я перевернул карточку. На обороте не было ни подписи, ни даты.

Только одна фраза: «Ваше путешествие ещё не закончено».

Я рассмеялся, но смех вышел сухим. В моём возрасте человек уже не обязан бояться призраков. Он знает: большая часть привидений рождается из усталости, плохого освещения и неосторожной работы памяти.

Однако карточка была настоящей.

Я коснулся карточки ладонью. Бумага была тёплой.

В ту же секунду где-то за стенами дома раздался гудок.

Не паровой. Не железнодорожный. Он был ниже человеческого голоса и длиннее любого звука, который я когда-либо слышал в Нанте, Париже или на море. Стекла в окне едва заметно задрожали. Часы остановились.

На несколько мгновений комната изменилась.

Стол растворился в прозрачном свете. Потолок исчез. Надо мной простиралось чёрное пространство, усеянное точками, слишком яркими и многочисленными для обычного

неба. Между ними двигались огни: одни медленно скользили в темноте, другие вспыхивали и исчезали. Внизу вращался голубой шар, перечёркнутый белыми полосами облаков. Я узнал Землю не сразу — лишь когда различил очертания знакомых материков и понял, что вижу её целиком, окружённую тонкой дымчатой оболочкой.

Она была прекрасна.

И беззащитна.

Я моргнул, и кабинет вернулся на место.

Но звук продолжал жить во мне.

Я знаю, что скажут люди, если когда-нибудь прочитают эти страницы. Одни назовут случившееся болезнью, другие — стариковской выдумкой, третьи решат, будто я заранее знал то, о чём писал, и сочинят обо мне легенду. Легенды удобнее правды: в них человек получает карту будущего и послушно идёт по нанесённым линиям. В действительности ему достаются лишь клочок тумана, обрывок разговора и сомнение — не принял ли он шум волн за голос судьбы.

Я не был пророком. Я видел обрывки, но не понимал их смысла. Я был мальчиком из Нанта, который слишком долго смотрел на воду.

Если вы хотите узнать, откуда началось моё путешествие, не ищите первую страницу в Париже, среди театральных афиш и газетных редакций. Не ищите её и в кабинете господина Этцеля, где красный карандаш не раз менял мои рукописи, а вместе с ними — и мою жизнь. Не начинайте с той

минуты, когда публика впервые произнесла моё имя.

Начните с реки.

Начните с города, который каждый день встречал корабли и снова отпускал их к океану.

Начните с мальчика, который ещё не знал, что некоторые люди всю жизнь отплывают от берега, даже когда продолжают стоять на нём.

Глава 1. Город, смотревший в океан

Я родился в городе, где вода казалась ближе многих родственников.

С приливом вода входила в Нант, наполняла улицы запахом и блеском, касалась каменных стен, отражала мачты и отступала, оставляя влажные следы на ступенях. Для взрослых Луара была дорогой, торговым путём, источником дохода и поводом для бесконечных разговоров о погоде. Для меня она была живым существом.

Я не умел объяснить, почему чувствую это.

Река не имела лица, но умела менять выражение. Утром она казалась серой и деловитой, будто спешила по своим обязанностям. Днём вспыхивала между домами и заставляла щуриться. Вечером темнела, и по её чёрной поверхности начинали плыть огни. Тогда мне казалось, что под водой существует другой город, чьи улицы уходят не вдаль, а в глубину, а жители разговаривают медленными колебаниями света.

Позже я придумал для этого города название, но в детстве мне хватало ощущения, что под знакомой поверхностью скрывается неизвестное.

Я родился в доме на острове Фейдо, среди зданий, слишком тесно прижавшихся друг к другу. Камень, дерево, же-

лезо и стекло соединялись там без особой нежности. Внизу шумели лавки, во дворах спорили из-за ящиков, над головами сохло бельё, а из окон доносились голоса людей, которым всегда было что сказать соседям.

Я привык засыпать под звуки города: сначала до меня долетали шаги и скрип телег, а позже, когда остальные звуки стихали, становилось слышно, как в порту перекликаются мужчины. Кто-то смеялся, кто-то ругался, кто-то отдавал приказ, и его голос разносился над водой, теряясь между домами. Иногда в ночи звучал колокол. Его удар проходил сквозь стены и заставлял меня открывать глаза.

Я лежал в темноте и пытался представить, что происходит за окном. Мать говорила, что любопытство не должно лишать мальчика сна, отец считал сон полезнее пустых мечтаний. Я соглашался с обоими и всё равно вставал.

Из окна было видно не море, а лишь кусок города. В этом и заключалась жестокость Нанта: он обещал океан, но не показывал его. Между мной и открытой водой стояли дома, склады, пристани и чужие жизни. Оставалось смотреть поверх крыш, искать просвет между мачтами и угадывать направление ветра по флагам.

Видеть можно было не всё. Поэтому приходилось воображать остальное.

Мой отец, Пьер Верн, был адвокатом. Его мир состоял из правил, подписей, обязательств и точных формулировок. Он верил словам лишь тогда, когда их можно было подтвер-

дить документом. Если человек говорил, что заключил сделку, отец спрашивал, где договор; если обещал вернуть деньги — называл срок; если утверждал, что невиновен, — предъявлял доказательства.

Иногда я думал, что право похоже на карту: на ней тоже должны быть обозначены границы, названия и направления. Неизвестное раздражает закон не только возможной опасностью, но и тем, что для него ещё не найдено точного обозначения.

В кабинете отца пахло бумагой, кожей и пылью. В шкафах стояли книги в тяжёлых переплётах. Даже когда я проводил пальцами по корешкам, они молчали. Мне казалось, что внутри каждой заперто множество человеческих голосов.

Он не запрещал мне читать — запрет был бы проще. Вместо этого отец напоминал, что у каждой вещи есть назначение: книги нужны для работы, бумаги — для дела, часы — для измерения времени, суда — для перевозки людей и грузов. Если я часами рассматривал корабль, он спрашивал, какую пользу принесло мне это занятие.

Я не знал ответа. Теперь я понимаю: некоторые вещи сначала поселяются в памяти и лишь годы спустя превращаются в историю. Тогда же я просто любил порт.

Туда я уходил при первой возможности: сначала с братом и другими мальчиками, позже — иногда один. Порт не был красив. Он пах мокрым деревом, рыбой, углём и смолой. На камнях блестела грязная вода, канаты лежали тяжёлыми из-

вивами, похожими на спящих животных. Матросы ходили с такой уверенностью, словно земля была для них лишь остановкой между двумя плаваниями.

Я завидовал им.

Не самым путешествиям — я даже не знал, куда они направлялись. Меня привлекала их способность покидать место и при этом не исчезать. Они ещё стояли на пристани, но уже принадлежали другому берегу. За их спинами оставался один город, впереди ждал другой, а между ними двигалась вода.

Однажды я спросил старого матроса, что находится за горизонтом. Он посмотрел на меня так, словно вопрос был одновременно глупым и важным.

— Другой горизонт, — ответил он.

Этого ответа я уже не забыл.

Ответ был неточным, и именно поэтому в нём не было конца. За каждым горизонтом появлялся следующий. Мир не заканчивался там, где исчезал из глаз, — он переходил в область, которую пока нельзя было рассмотреть.

В тот вечер я впервые сделал собственную карту.

Я разложил на полу лист бумаги и провёл линию от Нанта к краю страницы. Она вышла кривой. Потом я добавил острова, проливы, горы и несколько неизвестных земель. Их очертания выводил медленно и осторожно, словно одной ошибкой мог лишить кого-то берега.

Брат Поль заглянул через моё плечо.

— Ты был там?

— Нет.

— Тогда откуда знаешь?

Я не ответил. Мне было неловко признаться, что эти места словно возникали во мне сами: красные скалы, жёлтые равнины, ледяные поля, тёмные воды, под которыми двигалось нечто огромное.

Потом произошло странное.

Когда я поднял перо, на бумаге обнаружилась ещё одна линия — тонкая, серебристая, почти невидимая. Она пересекала карту и уходила за край листа. Я решил, что это отблеск из окна, и закрыл ставни. Линия не исчезла.

Я коснулся её пальцем.

Бумага была холодной.

В следующую секунду карта исчезла под белым безмолвным светом. Потом не стало ни комнаты, ни пола, ни потолка. Вокруг лежала чернота, в которой невозможно было различить верх и низ, а вдали светилась тонкая голубая дуга.

Я отдернул руку, задел чернильницу и залил карту. Мать прибежала на шум, стала вытирать пол и спрашивать, что случилось. Я сказал, что рисовал корабль.

Это было неправдой, но не совсем.

Разве корабль обязан быть сделан из дерева? Разве он не может быть мыслью, пересекающей пространство? Разве любая карта не является попыткой построить судно для тех, кто ещё не знает дороги?

В детстве я не умел задавать таких вопросов. Я лишь чувствовал невидимую связь между городом и дальними местами. Она проходила через воду, запах смолы, крик чаек, бумагу и чернила. Казалось, стоит подобрать правильные слова — и река сама расскажет, куда направляется.

Мать любила музыку, цветы и семейные истории. От неё я слышал о людях, чья жизнь была связана с Нантом, торговлей и морем. Поэтому путешествия в нашем доме не казались чем-то совершенно чужим. Но одно дело — слушать рассказы о плаваниях за столом и совсем другое — представить, что однажды сам ступишь на палубу.

Я боялся этой мысли.

Страх и желание часто живут рядом. В детстве мне казалось: если я боюсь отплыть, значит, не должен мечтать о путешествии. Лишь позже я понял, что неизвестность бывает слишком велика для одного чувства.

По вечерам я снова смотрел на реку.

Река двигалась к океану, не спрашивая разрешения у города. Она несла щепки, листья, обрывки верёвок и отражения окон. Всё, что принимало её течение, становилось частью пути.

Я стоял у берега и думал: если река может пройти через Нант и двигаться дальше, почему человек обязан оставаться?

Тогда я ещё не знал, что некоторые берега удерживают крепче цепей. Их создают любовь, долг, страх и ожидания

тех, кто желает тебе добра.

Мой первый берег был моим отцом.

Глава 2. Закон берега

Отец не запрещал мне смотреть на реку. Он лишь хотел, чтобы я видел в ней не зов, а порядок. Вода, по его мнению, учила постоянству: двигалась, поднималась с приливом, отступала и возвращалась, но всегда подчинялась руслу.

— Ты можешь мечтать о море, — сказал он однажды, когда мы стояли у окна его кабинета. — Но сначала научись понимать землю под ногами.

Я спросил, почему одно мешает другому.

Он посмотрел на меня внимательно, без раздражения. Отец редко сердился сразу. Сначала он молчал, а это было хуже любого окрика: в его молчании человек сам начинал перечислять свои ошибки.

— Потому что море не кормит мечтателя, — ответил он. — Оно кормит тех, кто знает, что делает.

Мне хотелось возразить, что корабли сначала строят в воображении и лишь потом — на верфи. Но я промолчал. Я уже знал: некоторые мысли нельзя произносить за обедом.

В нашем доме существовало расписание, которого никто не записывал, потому что оно казалось старше любых записей: вставать, умываться, есть, заниматься, помогать, читать разрешённое, не мешать отцу, не забывать о семье. День складывался из небольших обязанностей, как стена из камней. Трудность заключалась в том, что я не ненавидел эту

стену.

Отец был строг, но не жесток. Он заботился о нас с той же основательной сосредоточенностью, с какой вёл дела клиентов: проверял, тепло ли мы одеты, следил за учёбой, знал, сколько денег осталось в доме. Если кто-нибудь болел, он почти не спал. Его любовь была надёжной, как каменный мост, и столь же холодной на ощупь.

Я любил его — и именно поэтому не мог послушаться легко.

Когда взрослые перестали принимать мои вопросы за детскую причуду, отец заговорил о будущем. Он говорил о нём без пафоса, словно называл статью договора.

— Ты станешь адвокатом.

Не «можешь стать» и не «попробуешь». Станешь.

Я представлял себя за его столом, среди книг, бумаг и людей, которые приходят с чужими бедами. На подоконнике лежала бы закрытая карта. За окном шла бы река. Я бы знал все законы, но не знал бы, куда направляются корабли.

Иногда я пытался примирить право с путешествием. Воображал, что буду составлять договоры для капитанов, защищать моряков или вести дела в далёких портах. Такие мысли позволяли мне не спорить с отцом: я строил тайные мосты между его будущим и своим. Но первый настоящий шаг показал, насколько они непрочны.

В школе я учился неровно. Всё, что требовало запоминания без понимания, давалось мне тяжело. Зато география,

естественные науки и рассказы о путешествиях захватывали целиком. Мне хотелось знать, как устроены вулканы, почему меняются течения, откуда берутся ветры и какое давление должен выдержать корпус, чтобы опуститься в морскую глубину.

Знания не были для меня собранием сведений. Каждое становилось дверью. Стоило прочесть о металле, выдерживающем высокую температуру, как воображение принималось строить машину. Телескоп открывал не только звезды, но и другие миры; воздушный шар поднимал человека над континентом, превращая дороги и границы в тонкие линии.

Учителя иногда говорили, что я слишком легко отвлекаюсь.

Они ошибались. Я не отвлекался. Я продолжал урок в другом направлении.

Однажды учитель развернул карту мира — большую, желтоватую, с морями, окрашенными неровной синевой. Он называл страны, столицы и главные реки, а я смотрел туда, где названий почти не было: во внутренние области Африки, к полярным краям, на острова, обозначенные одной неуверенной линией.

— Здесь ничего нет, — сказал сосед по парте.

— Почему ничего?

— Потому что это ещё не изучили.

Он произнёс это с уверенностью, будто неизученное переставало существовать.

Я долго думал над его словами. Для меня белое место не было пустотой. Оно было обещанием.

В тот день я понял, что карта рассказывает не только о мире, но и о пределах человеческого знания. Линии на ней продолжались, пока хватало смелости, денег и времени, а затем обрывались у короткого признания: «неизвестно».

Я решил, что писатель может продолжать карту там, где останавливается географ.

Сейчас это кажется красивой мыслью. Тогда она была всего лишь детским упрямством.

Отец не любил упрямства, считая, что оно ведёт к долгам, ссорам и необдуманному поступкам. Если я слишком долго пропадал в порту, за мной посылали. Обычно меня находили среди складов, где я слушал моряков.

Они говорили коротко, глотали окончания и заменяли объяснения жестами. В их речи вода становилась расстоянием, ветер — характером, а корабль — существом, способным устать, заболеть или не вернуться.

Услышанное я записывал в маленькую тетрадь. Названия снастей соседствовали в ней с матросскими фразами, очертаниями незнакомых островов и расчётами, понятными только мне. Я измерял стол, превращая его в палубу, считал шаги от двери до окна и называл их милями. По горящей свече отмерял время, а затем пытался вычислить, какое расстояние прошёл бы за этот срок корабль.

Это была моя первая, очень неточная наука, которую

нельзя было отменить замечанием учителя.

Однажды отец нашёл тетрадь. Он не порвал её и не бросил в огонь — только прочитал несколько страниц, пока я стоял напротив, чувствуя, как горит лицо.

— Это все?

— Нет.

— Что значит «нет»?

Я не умел объяснить. Тетрадь была лишь частью того, что происходило у меня в голове, но такое признание казалось слишком серьёзным.

Отец перевернул страницу. Там был нарисован корабль, который выглядел одновременно как судно, рыба и огромная металлическая игла. Он был уродлив, но в нём имелось что-то упрямое.

— Ты хочешь стать моряком?

Я подумал о качке, холодной воде, темноте под палубой и расстоянии до дома. Мне стало страшно.

— Не знаю.

— Это честный ответ. Но тогда не называй рисунок планом.

Он вернул тетрадь.

Я ждал наказания и растерялся, не получив его. Запрет был бы проще: оставленный выбор заставлял отвечать самому. После ухода отца я долго смотрел на корабль. Он был уродлив, но упрям, и я не выбросил рисунок. Лишь много лет спустя я понял, что отец заметил главное: мне хотелось

не стать моряком, а отправить в море своё воображение.

Весной река поднималась. Она становилась шире и быстрее, несла обломки веток, куски коры, грязную пену. Вода ударялась о сваи с глухим, повторяющимся звуком. Я мог часами наблюдать за этим движением.

Однажды во время сильного прилива от причала сорвало небольшую лодку. На борту никого не было, парус беспомощно свисал, весел тоже не оказалось. Лодку развернуло, ударило о соседнее судно и понесло течением.

Взрослые закричали. Кто-то бросился за верёвкой, кто-то ругался, матрос едва не поскользнулся на мокрой пристани. Я смотрел на лодку, испытывая одновременно ужас и зависть. Она могла разбиться, но уходила. Ни голоса, ни чужая воля уже не могли её остановить. Тогда я впервые почувствовал, что свобода и опасность способны вести в одну сторону.

Лодку поймали у дальней пристани.

Отец узнал о происшествии и вечером сказал, что мне нельзя приближаться к воде без сопровождения. Я кивнул. Он объяснил, что река не прощает рассеянности.

— Река не знает, кто ты, — сказал он. — Ей всё равно, хороший ты мальчик или плохой.

Я запомнил это лучше многих уроков.

Впоследствии я часто вспоминал эти слова, размышляя о машинах и кораблях. Природный закон не различает добрых и жестоких; машина тоже не отвечает за цель, которую ей назначили. Ответственность остаётся человеку.

В детстве я любил чудеса, не думая об их цене. Мир казался огромным механизмом, ожидавшим человека, который сумеет привести его в действие. Я представлял подводные суда, летательные аппараты, тоннели и снаряды, пересекающие огромные расстояния. Любое изобретение казалось мне новым видом свободы. Я ещё не спрашивал, кому эта свобода достанется и против кого может быть обращена.

В ту ночь я снова подошёл к окну. Вода темнела между домами, на дальнем судне горел одинокий фонарь. Он плыл так медленно, что казался неподвижным. Я смотрел, пока свет не расплылся перед глазами.

На миг вместо реки возник длинный чёрный корпус, скользящий под водой. В его бортах светились круглые окна, а за ними двигались бледно освещённые лица. На носу не было флага.

Я отшатнулся. Когда решился посмотреть снова, увидел только реку.

Я никому не рассказал об увиденном. Назвать это кораблём было неточно, сном — невозможно: я не спал. В тетради я нарисовал чёрный корпус с круглыми окнами и подписал: «Судно, которому не нужен берег».

Но прежде чем придумать для него настоящее имя, мне предстояло проверить, способен ли я сам покинуть отцовский берег.

Глава 3. Корабль, которого не было

Существует история о том, как в одиннадцать лет я попытался бежать в Индию.

Её пересказывали столько раз, что со временем она сделалась прочнее многих достоверных воспоминаний. В ней есть корабль с красивым именем, разгневанный отец, испуганный капитан и мальчик, обнаруженный почти в последнюю минуту. Завершается история словами, которые я будто бы произнёс, возвратившись домой:

— Отныне я буду путешествовать только в воображении.

Слишком точная фраза для ребёнка.

Слишком удобный финал для биографа.

Старость научила меня сомневаться не только в чужих рассказах, но и в собственной памяти. Когда долго смотришь назад, годы сближаются, лица меняются местами, а слова, произнесённые однажды, начинают звучать в других комнатах. Я не могу поклясться, что всё произошло именно так. Но могу рассказать, что сохранилось во мне.

День был жарким. Над Луарой висел белёсый свет, стиравший границу между водой и небом. Доски пристани нагрелись, смола размякла и липла к подошвам. Кричали чайки, стучали молотки, скрипели блоки. Ветер приносил запах водорослей, мокрых канатов и морских грузов, хотя до открытого океана оставалось далеко.

Я пришёл туда не для того, чтобы бежать. По крайней мере, так я говорил себе.

В кармане лежали складной нож, кусок хлеба и несколько монет — подозрительный набор для обычной прогулки. Но нож мог понадобиться любому мальчику, хлеб дала мать, а деньги я копил несколько недель. Узла с одеждой не было, прощального письма тоже. Следовательно, доказательств побега не существовало.

Так рассуждал сын адвоката.

У пристани стояла шхуна. В семейной легенде её назовут «Корали», хотя память не сохранила имени на корме. Краска потемнела от воды, канаты были натянуты, паруса убраны. По трапу поднимали бочки и ящики; каждый груз исчезал в трюме, словно корабль проглатывал части суши перед долгой дорогой.

Я спросил у матроса, куда они идут.

— Далеко.

— Насколько далеко?

Он сплюнул в воду и смерил меня взглядом.

— Дальше, чем тебе разрешено.

Этот ответ решил все.

Запрет обладает особой силой. Трудная дорога ещё позволяет ребёнку отступить; запрещённая превращает отступление в поражение.

Я отошёл, сделал вид, что рассматриваю соседнее судно, затем вернулся с другой стороны. За штабелем ящиков об-

наружилось узкое пространство между причалом и бортом. Туда падала тень. Пахло мокрой пенькой, пряностями и гнилыми фруктами.

Я коснулся корпуса ладонью.

Дерево дрожало. Шхуна ещё стояла у пристани, но внутри неё уже накапливалось движение: по палубе бегали люди, звучали окрики, натягивались снасти. Дрожь переходила в мои пальцы, и мне казалось, что судно знает о скором отплытии. Оставалось сделать один шаг.

Я представлял Индию по книгам, картам и разговорам. Она состояла из ярких тканей, раскалённого воздуха, храмов, слонов и густых лесов. Там росли растения, способные убить прикосновением, и жили животные, чьи глаза горели в темноте. Даже название страны имело вкус — острый, сладкий и немного горький.

Позднее я пойму, как легко книги превращают чужую землю в собрание диких. Но тогда Индия была для меня не страной, где жили настоящие люди, а другим концом линии, когда-то начерченной на карте.

Я поставил ногу на трап.

Доска прогнулась.

Кто-то окликнул меня, и сердце ударило так сильно, что я едва не потерял равновесие. Но звали не меня. Матрос на палубе ругал грузчика. Никто не смотрел в мою сторону.

Я поднялся ещё на две ступени.

С высоты трапа город казался ниже. За крышами остава-

лась знакомая жизнь: дом, мать, брат и сестры, кабинет отца, школьные книги. Всё ещё было на месте, но я уже смотрел на него со стороны корабля.

И тогда мне стало страшно.

Не моря, не бури и не наказания. Я испугался, что судно действительно отплывёт.

До той минуты путешествие было дверью, которую я мог открыть когда угодно. Но настоящая дверь захлопывается за спиной. Корабль не уносит человека в неизвестность — сначала он отнимает у него известное. Чтобы увидеть дальний берег, нужно согласиться потерять из виду свой.

Я стоял на трапе, не в силах подняться или спуститься.
— Эй, мальчик!

На этот раз обращались ко мне.

Чья-то рука схватила меня за воротник и рывком поставила на причал. Я увидел широкое загорелое лицо, седую щетину и красный платок на шее. Матрос что-то говорил, но я слышал только гул крови.

— Ты чей?

Я назвал отца.

Имя адвоката подействовало надёжнее корабельного приказа.

Кто сообщил отцу и как меня доставили домой, память не сохранила. Следующая сцена начинается уже в его кабинете. С улицы доносился стук колёс, в открытое окно входил запах реки. Отец стоял, заложив руки за спину.

Он не кричал.

— Ты хотел бежать?

— Я хотел посмотреть корабль.

— Для этого не поднимаются на борт перед отплытием.

— Я не знал, что он отплывает.

Это была плохая ложь. Отец позволил ей повиснуть между нами.

На столе лежали мои припасы: нож, монеты и затвердевший хлеб. Три вещественных доказательства. Я смотрел на них и впервые понимал, почему преступники придумывают неправдоподобные объяснения. Правда кажется слишком тяжёлой, чтобы поднять её сразу.

— Куда шёл корабль?

— В Индию.

— И что ты собирался делать там?

Я молчал. О прибытии я не думал: все мои планы заканчивались в минуту отплытия. Я представлял освобождение, но не жизнь, которая должна была начаться после него.

— Ты умеешь управляться с парусом?

— Нет.

— Знаешь навигацию?

— Нет.

— Говоришь на языках тех мест?

— Нет.

— Тогда ты отправился бы не путешественником, а обузой.

Каждое слово попадало точно в цель. Отец не высмеивал мою мечту. Он разбирал её, как неудачно составленный договор, и показывал отсутствующие пункты.

Наказание последовало, хотя позднейшие рассказчики сделали его суровее, чем хранит моя память. Но болезненное наказания оказался отцовский взгляд: в нём был страх. Впервые я понял, что взрослый может сердиться потому, что уже вообразил смерть ребёнка. Отец, привыкший к правилам, столкнулся с миром, где сын мог исчезнуть без объяснения и без возможности вернуть его силой закона.

— Пообещай, что больше не попытаешься бежать.

Я хотел возразить, что не бежал. Но хлеб, нож и монеты лежали передо мной.

— Обещаю.

— Скажи ясно.

И тогда я, возможно, произнёс ту знаменитую фразу. А возможно, сказал только:

— Я буду путешествовать иначе.

Не знаю.

Память хранит не слова, а ощущение: сухость во рту, горячую кожу на шее, полоску света на отцовском столе. Внутри меня что-то закрылось, но рядом сразу открылось другое.

Если нельзя взойти на настоящий корабль, можно построить судно, которое взрослые не заметят. Оно не потребует денег, согласия капитана и знаний о снастях. Оно сможет выходить из порта ночью, проходить сквозь стены и возвра-

щаться прежде, чем мать войдёт разбудить меня.

Для такого корабля нужны были только бумага и чернила.

После этого отец следил за мной внимательнее. К пристани я больше не ходил один, зато часами сидел над картами: искал устья рек, направления течений и морские пути. Индия переставала быть разноцветным пятном. К ней вели конкретные моря и берега; путь требовал ветра, времени, пресной воды и умения.

Запрет заставил меня измерить мечту. Позднее этот приём станет моим методом: невозможное выглядит убедительнее, когда известны расстояние, запас воздуха, свойства металла и цена ошибки.

Однажды ночью мне приснилась шхуна. Она шла по чёрной воде без парусов и команды. Нант исчез, звёзд не было, стрелка компаса вращалась без остановки. Впереди поднялся туман.

За ним оказалось не море, а бездонная темнота. Над палубой висел голубой шар, виденный когда-то над детской картой. На его ночной стороне мерцали города, соединённые тонкими нитями света. Оттуда доносились тысячи голосов. Я не понимал слов, но среди них слышал своё имя.

Проснувшись, я ощутил на ладони запах смолы.

Утром шхуна ушла из Нанта.

Я смотрел ей вслед с безопасного берега. Её мачты уменьшались, пока не превратились в тонкие чёрточки. Я не знал, увезла ли она ту жизнь, которую я мог прожить, или спасла

меня от неё.

Семейная легенда утверждает, что отец вовремя снял меня с корабля. Моя память оставляет меня на трапе, в руке матроса. Но иногда мне кажется, что мальчик всё-таки отплыл.

Одна его часть ушла за горизонт. Другая вернулась домой, открыла тетрадь и стала прокладывать ей путь.

Так появился корабль, которого не было, и началось путешествие, остановить которое отец уже не мог.

До настоящего отъезда оставались годы учёбы, внешнего послушания и тайных рукописей. Но направление уже было выбрано.

Глава 4. Столица без горизонта

Прошли годы. Я окончил школу, научился выглядеть послушнее, чем был, и получил разрешение уехать. В Париж меня отправило право; литература лишь воспользовалась случаем.

Впервые я приехал туда молодым человеком, ещё способным верить, что судьбу можно устроить разумным соглашением. Отец хотел, чтобы я продолжил образование, получил юридическую степень и со временем занял достойное место. Я собирался исполнить его волю настолько, насколько она не мешала моей. Так мне тогда казалось.

Дорога из Нанта растянулась между двумя жизнями. Чем дальше оставалась Луара, тем отчётливее я чувствовал, что покидаю не просто город. За мной закрывался мир, где каждый знал моё имя, семью и ожидавшее меня будущее. Впереди находилась столица, которой не было до меня дела.

Париж встретил меня не величием, а шумом.

Он гремел колёсами, звенел посудой, кричал голосами торговцев. Извозчики ругались, лошади били копытами по мостовой, газеты переходили из рук в руки. В воздухе смешались запахи угля, сырой ткани, навоза, кофе и свежего хлеба. Этот город не смотрел в море. Он смотрел на самого себя и был уверен, что весь мир обязан ответить ему тем же.

В Нанте всегда можно было угадать направление океана.

В Париже горизонт исчезал за домами.

Поначалу это угнетало меня. Улицы поворачивали, пересекались, внезапно сужались. Людской поток подхватывал прохожего и нёс не хуже реки, но у него не было ни прилива, ни отлива. Казалось, город непрерывно движется, оставаясь на месте.

Я поселился скромно. Комната была тесной, мебель — чужой, стены сохраняли запах прежних жильцов. В холодные дни сырость проникала под одежду. Если закрыть окно, становилось душно; если открыть — внутрь врывались уличный шум и копоть.

На столе лежали книги по праву, и каждое утро я раскрывал их. В законах была суровая красота: точное определение отсекало лишнее, обязанность связывала человека с обещанием, собственность — с вещью, доказательство — с событием. Мне нравилась последовательность юридической мысли. Не нравилось только будущее, к которому она вела.

Я видел отцовский кабинет, воспроизведённый в другой комнате. Видел себя за столом, согнувшимся над бумагами. Клиенты входили, рассказывали о наследстве, долгах и спорах. За окном сменялись времена года. Я становился старше, осторожнее и уважаемее. Жизнь складывалась правильно.

Именно эта правильность пугала меня.

По вечерам я выходил на улицу, и Париж менялся. Газовые фонари вырывали из темноты отдельные лица, в витринах блестело стекло, в кафе клубился дым, у театров оста-

навливались экипажи. Из открытых дверей выплёскивались свет, музыка и тепло.

В первый раз, войдя в театр, я испытал то же чувство, что на трапе корабля.

Зал ещё не заполнился. Красные кресла уходили рядами в полумрак, ложи поднимались одна над другой, занавес скрывал сцену. Пахло пылью, воском, тканью и краской. За занавесом стучали молотки, кто-то передвигал декорации, чей-то голос повторял одну фразу.

Я понял: передо мной машина.

Не паровая и не часовая, но устроенная не менее сложно. Зал был её корпусом, актёры — движущимися частями, текст — скрытым механизмом. В назначенную минуту гас свет, поднимался занавес, и несколько сотен людей добровольно соглашались увидеть то, чего нет.

Кораблю нужны ветер и вода.

Театру требовалось внимание.

Спектакль начался, и Париж исчез. Декорации оставались плоскими, нарисованные колонны не могли поддерживать потолок, луна была кругом ткани. Я видел устройство обмана и всё же подчинялся ему. Когда актёр говорил о любви, зал замирал; когда на сцене звучал выстрел, зрители вздрагивали. Вымышленное событие вызывало настоящее чувство.

На улицу я вышел другим человеком. Право определяло последствия человеческих поступков; театр пытался показать их причины.

С этого вечера мои дни разделились. Утром я изучал кодексы, после полудня посещал занятия, вечером искал путь к сцене. Ночью писал. Свеча оплывала, пальцы мерзли, перо царапало бумагу. Слова казались великолепными, пока оставались в голове, и становились неуклюжими, едва попадали на страницу.

Я зачёркивал больше, чем сохранял.

Иногда мне удавалась одна реплика. Ради неё я мог не спать до рассвета. Утром перечитывал и обнаруживал, что герой говорит не как человек, а как молодой автор, желающий доказать, что умеет красиво писать.

Тогда я зачёркивал и её.

Париж тех лет не позволял забыть о политике. Город жил в напряжении, словно котёл с плохо закреплённой крышкой. В кафе спорили о республике, монархии, народе, собственности и свободе. Газеты менялись быстрее погоды. Незнакомые люди были готовы начать спор из-за одного слова.

В феврале 1848 года город заговорил мостовой. Толпа сгущалась на улицах, появлялись баррикады. Камни, телеги, доски и мебель превращались в крепости. Воздух пах дымом. Вдали гремели выстрелы. Люди бежали в одном направлении, затем внезапно поворачивали обратно. Страх распространялся быстрее новостей.

Издали революция кажется движением идей. В городе она ощущалась иначе — как тревога, которая входила в повседневную жизнь. Ремесленник, студент или лавочник мог

утром рассуждать о свободе, а вечером узнавать, вернулся ли домой его брат. Великие слова звучали рядом с ценами на хлеб, списками арестованных и рассказами о выстрелах.

Я не стану приписывать себе героизм, которого не проявил. Я наблюдал больше, чем действовал. Молодость часто принимает жадность к зрелищу за смелость. Я хотел понять происходящее и одновременно искал безопасную улицу.

На одной из площадей раздался залп.

Голуби поднялись над крышами. Толпа качнулась. Кто-то толкнул меня, я прижался к стене и почувствовал под ладонью тёплый камень. На мостовой лежал человек. Его шляпа откатилась в сторону, открыв седые волосы.

Я не знал, жив ли он.

В ту секунду все слова о свободе потеряли торжественность. Остались тело, камень и резкий запах пороха.

Я вспомнил отцовские слова о реке, которой всё равно, кто оказался в воде. Пуля была столь же безразлична. Позднее, отправляя героев к Луне с помощью гигантского оружия, я буду думать о расчётах, траектории и силе заряда. Но за цифрами останется вопрос, которого не решает ни одна формула: для чего человек применит полученную силу?

Ответа у меня не было.

Город быстро возвращался к привычкам. Открывались лавки, стены снова покрывали театральные афиши, будущее обсуждали за чашкой кофе. Париж умел превращать потрясение в рассказ, рисунок, пьесу — а затем продавать на них

билеты.

Я продолжал заниматься правом и писать.

Письма отца приходили регулярно. Бумага сохраняла запах дома или, возможно, я воображал его. Он спрашивал об учёбе, расходах и здоровье. Я отвечал тщательно. Сообщал об экзаменах, книгах и погоде. Театру отводил несколько строк.

Я лгал не словами, а пропорциями.

Право занимало в письмах почти всё место, хотя в моей жизни постепенно становилось фоном. Театр упоминался вскользь, хотя именно ради него я просыпался.

Иногда от матери приходили новости из Нанта. Я читал о знакомых улицах, семейных визитах, болезнях и праздниках. Тогда комната становилась особенно тесной. Мне хотелось услышать реку, но за окном грохотал Париж.

Однажды ночью грохот за окном изменился.

Я сидел над пьесой: герой должен был войти, объяснить и разрушить чужую свадьбу, но упорно не двигался с места. Я переставлял реплики, а сцена оставалась мёртвой.

Стекло задрожало. С улицы донёсся низкий гул, не похожий на экипаж, — словно под мостовой двигалось металлическое животное. Я выглянул наружу.

Мостовая исчезла. Под ней протянулись две блестящие линии, и по ним промчалась цепь освещённых вагонов — без лошадей, почти без дыма. За окнами сидели люди: читали, дремали, смотрели на тёмные стены тоннеля. Никто не

удивлялся чуду.

Видение погасло. По улице снова проехал одинокий экипаж.

Я вернулся к столу и записал увиденное — не как пророчество, а как задачу. Машина не могла изменить расстояние между городами, но могла изменить время пути и человеческое ощущение пространства. Города становились ближе; мир словно уменьшался. Но могли ли вместе с ним уменьшиться страх, одиночество и вражда?

Ответа у меня не было.

Я посмотрел на книги по праву. Их тёмные корешки стояли вдоль стены, словно судьи. Потом перевёл взгляд на рукопись и впервые ясно понял: всю жизнь служить двум будущим не получится. Одно было выбрано отцом, другое ещё не имело названия. Между ними лежал Париж — город без горизонта, где дорогу приходилось открывать, как сцену: собственноручно поднимая занавес.

Глава 5. Театр машин

Пьесу, которой суждено дойти до сцены, человек пишет дважды.

Сначала — в одиночестве, когда все герои ему подчиняются. Затем — в театре, где обнаруживается, что актёры дышат, декорации падают, зрители кашляют в неподходящих местах, а прекрасная реплика может погибнуть из-за скрипнувшей двери.

Я долго знал только первый театр.

Он помещался в моей комнате. Стол был сценой, свеча — рампой, стена напротив — зрительным залом. Я расставлял персонажей, заставлял их входить и выходить, ссорил, мирил и женил. Если сцена не удавалась, я разрывал лист, и никто не жаловался на смерть.

Настоящий театр оказался менее покорным.

Чтобы войти в него, мало было написать пьесу. Следовало найти человека, готового её прочитать, затем убедить театр поставить, актёров — сыграть, а публику — заплатить за право посмотреть. Литература начиналась с вдохновения и быстро превращалась в переговоры.

Здесь юридическое воспитание неожиданно пригодилось.

Я учился ждать в приёмных, помнить нужные имена, не показывать отчаяния и возвращаться после отказа. Рукопись под мышкой с каждым шагом становилась тяжелее. В теат-

ральных коридорах пахло пылью, газом и мокрыми пальто. Служащие смотрели на молодых авторов, как таможенники на подозрительный багаж.

В каждом свёртке могла находиться великая пьеса.

Но чаще там лежало несколько часов чужой скуки.

Я знакомился с людьми, которые жили сценой. Среди них были актёры, музыканты, драматурги и мечтатели, ничем не отличавшиеся от меня, кроме более уверенного голоса. Они говорили быстро, переходили с одной темы на другую, спорили о последней премьере и забывали вернуть одолженные деньги.

Театр был республикой, в которой все заявляли о свободе и каждый мечтал сделаться монархом.

Особенно важной для меня стала музыка. Мой друг, композитор Аристид Иньяр, слышал сцену иначе, чем я. Там, где я искал поворот действия, он находил ритм; где мне требовалась фраза, ему хватало нескольких нот.

— Ты заставляешь героев слишком много объяснять, — сказал он однажды.

— Зритель должен понимать происходящее.

— Зритель должен чувствовать. Понимание придёт потом.

Мне не понравилось замечание, потому что оно было справедливым.

Мы работали вместе, соединяя текст и музыку. Когда Иньяр играл, комната менялась. Звуки поднимались от кла-

виш, касались стен и словно раздвигали их. Я видел корабли, рынки, далёкие города. Музыка не требовалась карта, чтобы перенести человека.

Я завидовал этому.

Слова всегда тащили за собой значение. Они объясняли, уточняли и называли. Музыка могла открыть дверь, не сообщая, куда она ведёт.

В литературных и театральных кругах я оказался рядом с людьми, чьи имена прежде видел только на обложках и афишах. Самым огромным среди них был Александр Дюма-отец.

При первой встрече мне показалось, что он занимает больше пространства, чем остальные люди. Не ростом — хотя и внешность его трудно было не заметить, — а жизненной силой. Он говорил так, будто одновременно рассказывал несколько романов. Вокруг него возникало движение. Люди смеялись раньше, чем он заканчивал фразу, и наклонялись вперёд, боясь пропустить следующую.

Я смотрел на него и думал: вот человек, который превратил воображение в физическую силу.

Дюма умел быть щедрым, особенно если щедрость не требовала от него остановиться. Он выслушивал молодых авторов, давал советы, открывал двери. Некоторые двери вели в зал, другие — только в новый коридор, но и это было немало.

При содействии Александра Дюма моя одноактная комедия в стихах “Сломанные соломинки” дошла до Историче-

ского театра. Решение поставить её казалось чудом, хотя за чудом стояли чтения, исправления, разговоры и чужая поддержка.

В день первой репетиции я пришёл слишком рано.

Сцена была открыта и освещена рабочим светом. Без зрителей театр выглядел обнажённым. Нарисованные стены не доходили до потолка. Деревья держались на подпорках. Дворец с обратной стороны состоял из досок, веревок и старой ткани.

Я провёл ладонью по декорации.

Краска оказалась шероховатой. С расстояния нескольких шагов это был камень, вблизи — холст. Иллюзия зависела не от качества обмана, а от правильно выбранной точки зрения.

Позднее я часто пользовался этим правилом. Чтобы читатель поверил в путешествие к центру Земли, не нужно доказывать каждую его ступень. Достаточно убедительно открыть вход: назвать настоящий минерал, показать точный прибор, измерить температуру — и вести человека дальше, пока он сам не согласится увидеть подземное море.

Актёры собрались не спеша.

Они читали мои реплики, меняли ударения, сокращали паузы. Один произнёс фразу с таким выражением, что она обрела смысл, которого я не вкладывал. Другой уничтожил шутку, остановившись перед последним словом. Я ёрзал на стуле и сдерживал желание вмешиваться.

— Почему он говорит так быстро? — спросил я у режис-

сёра.

— Потому что иначе зритель успеет понять, насколько слаба фраза.

Я не знал, шутит он или нет.

На следующей репетиции дверь в декорации заела. Актёр потянул сильнее, стена дрогнула, сверху посыпалась пыль. Все засмеялись. Мне было не до смеха. Я видел, как созданный мною мир едва не рухнул из-за одного плохо вбитого гвоздя.

Тогда я впервые по-настоящему оценил сценическую машину.

За спектаклем стояли люди, которых публика почти не замечала: машинисты, рабочие, осветители, костюмеры, суфлёр. Они поднимали занавес, меняли пространство, подавали предметы в нужную секунду. Ошибка одного могла разрушить работу всех.

Так же устроен корабль.

Возможно, так же — общество.

В назначенный вечер, 12 июня 1850 года, зрители собрались в зале. Я стоял за кулисами и слышал их голоса. До начала спектакля публика звучит как море: отдельные слова неразличимы, но общий шум то поднимается, то отступает.

Пахло горячей пылью и гримом. Свет газовых рожков сушил воздух. Актёры повторяли первые реплики. Кто-то искал потерянную деталь костюма. Рабочий прошёл мимо с частью стены на плече.

Я прижал пальцы к декорации, чтобы унять дрожь.

Она дрожала сильнее меня.

Занавес поднялся.

Первая реплика прозвучала слишком тихо. Я перестал дышать. Вторая дошла до зала. Затем кто-то в третьем или четвёртом ряду кашлянул. Мне показалось, что всё потеряно.

Но действие продолжалось.

Публика засмеялась в первом нужном месте. Смех был коротким, но настоящим. Он прошёл сквозь меня тёплой волной. До этой минуты пьеса принадлежала только рукописи. Теперь она существовала в чужих телах: заставляла людей поворачивать головы, улыбаться, задерживать дыхание.

Это было сильнее печатной страницы.

И опаснее.

Когда зрители молчали, я пытался угадать значение тишины. Им скучно? Они не поняли? Ждут продолжения? Каждая пауза превращалась в приговор, который судья ещё не дочитал.

Аплодисменты в конце не были бурей. Небо не раскололось, Париж не произнёс моё имя. Но занавес опустился под звук хлопающих ладоней, и этого оказалось достаточно.

Я стоял в полутьме, окружённый верёвками и декорациями. Актёры разговаривали, кто-то поздравлял меня, кто-то уже обсуждал ужин. Для них завершился ещё один рабочий вечер.

Для меня изменилась форма мира.

Я доказал себе, что воображаемое можно построить. Оно способно выйти из головы, получить голос, одежду и освещение. Оно может занять физическое пространство и на некоторое время заставить множество людей жить по его законам.

Наутро выяснилось, что аплодисменты не оплачивают завтрак.

Мне ещё предстояло завершить образование, найти заработок и объяснить отцу, почему театр перестал быть увлечением.

Я стоял под дождём перед закрытым театром, прижимая под пальто никому не нужную рукопись. Вода стекала за воротник, чернила расплывались на афише, город равнодушно гасил окна.

И всё же я чувствовал не поражение, а отплытие.

Берег уже отделился.

Глава 6. Цена чернил

Отказаться от права оказалось легче, чем отказаться от отца.

Право не смотрело мне вслед. Оно не писало писем, не вспоминало, как я учился ходить, и не представляло моё будущее задолго до того, как я сам начал о нём думать. Кодексы можно было закрыть и поставить на полку. С отцовской надеждой так поступить нельзя.

Получив юридическое образование, я исчерпал право на отсрочку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.